

Александр ТВАРДОВСКИЙ – Поэт и Личность

Слова, которыми озаглавлен очерк, я узнаю, ещё, когда поэт будет жив. Но с особой силой и строчка, и само стихотворение прозвучат для меня, когда его уже не будет на этом свете. В 1972-м году куплю за 22 копейки тоненький – из 80 страниц сборничек, где на белой мягкой обложке, скреплённой со страницами стихов двумя скрепками, будут стоять две прописных заглавных буквы: А и Т. И ниже – в правом нижнем углу – мелкими буквами написано:

«А. Твардовский. «ИЗ ЛИРИКИ ЭТИХ ЛЕТ».

И на развороте – будто бы уточнение слова «этих» – две даты: 1959 – 1968.

К тому десятилетию в его жизни мы ещё вернёмся. Пока же – 72-й год, и я читаю строчки, которые сразу входят в память. И остаются там, думаю, навсегда:

На дне моей жизни, на самом доньшке
Захочется мне посидеть на солнышке,
На тёплом пёнушке.

И чтобы листва красовалась палая
В наклонных лучах недалёкого вечера.
И пусть оно так, что морока немалая –
Твой век целиком, да об этом уж нечего.

Я думаю свою без помехи подслушаю,
Черту подведу стариковскою палочкой:
Нет, всё-таки нет, ничего, что по случаю
Я здесь побывал и отметился галочкой.

Остаются, наверное, оттого, что знаю, КАК он «отметился» этой «галочкой».

К тому времени я уже был давним поклонником и читателем полюбившегося с детства поэта и его «любимого детища» – журнала «Новый мир», который в 60-е стал самым ярким явлением в литературной жизни страны. Знал и о драме последних лет его жизни, связанной с журналом.

Но тогда – в 72-м – вспомнил о другом. Твардовский вошёл в мою жизнь вместе с Пушкиным, Лермонтовым, Тютчевым, Баратынским, Блоком... И я был очень удивлён, когда пяти или шестилетним ребёнком сороковых узнал, что он жив и сравнительно молод – всего годом старше папы. Мне казалось, что «Книгу про бойца», которую родители любили читать вслух, должен был написать человек, много старше этого бойца. Больше того, в моём детском сознании сложно уживалась строчка: «Я убит подо Ржевом» с тем, что поэт не убит. Сколько мне ни объясняли папа с мамой, что это такой «поэтический приём» и

что, если бы он был убит, то как бы смог написать, всё равно, я думал, родители не хотят меня расстраивать. Ну как же, казалось мне, там ведь всё точно сказано:

...В безымянном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налёте.

Я не слышал разрыва,
И не видел той вспышки, –
Точно в пропасть с обрыва –
И ни дна, ни покрышки.
А потом будто подводит итог происшедшему:
И во всём этом мире,
До конца моих дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастёрки моей.

Тут, видимо, следует рассказать ещё вот о чём: папа с мамой много работали и стихи читали мне и друг другу или гостям по вечерам. А моим воспитанием большую часть времени занималась бабушка, с которой у нас была тайна. Дело в том, что хотя в ту пору уже давно в моде был атеизм, бабушке, как я понял, повзрослев, поздно было «перестраиваться на эти рельсы». Поэтому она оставалась верующей и много чего мне по секрету от родителей рассказывала. Например, о какой-то другой – «загробной» – жизни: о том, что там «всё по справедливости». А чтобы там – в жизни вечной – всё было хорошо, здесь – в жизни земной, нужно жить «по совести».

Мне казалось, что это очень просто, и я не понимал, почему какие-то люди, особенно взрослые, ведут себя так, как не подобает: они же должны знать о «страшном суде». Такими людьми для меня в ту пору оставались немцы. Немцы, конечно, были разными – я это уже знал, но когда мы с ребятами играли в войну, они для нас все были одинаковыми, и никто не хотел быть «немцем». Но это – к слову. Что же касается бабушкиного воспитания, то именно благодаря ему, мне сразу стали понятны строчки:

Я – где корни слепые
Ищут корма во тьме;

Я – где с облаком пыли
Ходит рожь на холме;

Я – где крик петушиный
На заре по росе;
Я – где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;

Оттого мне и казалось, что жил этот замечательный поэт «по совести», и поэтоу может рассказать «оттуда», что с ним случилось подо Ржевом:

Где травинку к травинке
Речка травы прядёт, –
Там, куда на поминки
Даже мать не придёт...

Поскольку бабушка рано ложилась спать и не присутствовала на чтениях стихов, которые почти ежевечерне случались в нашем доме, я и рассказал ей эту историю с поэтом – о том, что он, будучи убит подо Ржевом, продолжает писать. И так замечательно это делает. Конечно, бабушка знала, что я ошибаюсь, но до поры, думаю, намеренно меня не разубеждала, поскольку уж очень ей хотелось, чтобы я всегда жил «по совести».

Не знаю, в какой степени оправдал её надежды, но то, что она была единственным из взрослых, кто «поддерживал» меня в моём упорстве именно так объяснять, почему стихи этого поэта попадают к людям, помню.

Ещё помню, как полюбил строчки его ранних стихов. Дело в том, что мне, деревенскому мальчику, рождённому в казачьей станице, очень близко было то, о чём он – тоже деревенский мальчик – совсем ещё юным писал:

....Под осенний говор нивы
Жарким потом обольюсь.
Я вдвойне тогда счастливый,
Если вволю потружусь...
Или:

Дорог израненные спины,
Тягучий запах конопли...

.....
Я вижу – в сумерках осенних
Приютом манят огоньки.
Иду в затихнувшие сени,
Где пахнет залежью пеньки...
Помню, что по многу раз перечитывал строчки:
...Внушительен и важен почтальон,
Как перевод с казённой печатью.
И холодно не замечает он,
Что, торопя его, готов кричать я.

Перебираю письма до конца,
Растерянно и нервно беспокоясь.
Так тяжело бывает встретить поезд,
Не отыскав знакомого лица.

Особенно мне нравилось окончание, которое напоминало
блоковское:

...Так много жадных взоров кинуту
В пустынные глаза вагонов...

Блок к тому времени – годам к 10-ти – прочно владел моим
воображением, и всё, что хоть как-то напоминало мне его
интонации, казалось пределом совершенства. Может, именно
от тех двух строчек я тогда и полюбил стихи Твардовского с
особой силой. Хотя, помню, что у меня к нему «были и вопросы».
Например, прочитав его «Думы о далёком», где так замечательно:

...Воздух, горьковатый, как миндаль,
День, как море, – полон и просторен.
Никогда никто мне не повтОрит
Ни строкой, ни краской эту даль...

я показал маме – учительнице русского языка и литературы
– ошибку в ударении слова «повторит». Мама сказала, что в
определённых случаях поэту можно так делать. И объяснила,
что здесь он «передаёт колорит простонародного говора».
После этого мне всегда нравилось встречать в его словах такой
«колорит».

А ещё в «Думах о далёком», я особенно любил окончание:

...Над узором этих мелких строк
Я сижу у низкого окошка...
Белый домик, белый городок,
Белые дымящиеся стёжки...

Выделял его, может быть, потому, что сам тогда составлял собственные «узоры» строчек, мечтая стать знаменитым поэтом. К тому же, после объяснения мамы мне очень понравилось, что поэту можно вольно ставить ударения, и все скажут, что это «для колорита». А не так, как мне иной раз мама: что это – «неграмотно».

В 1956 году папу перевели на работу в Москву, и с той поры мы стали москвичами. В какой-то момент я услышал, как один из гостей моих родителей читает:

...Не о смертном думай часе –
В нём ли главный интерес:
Смерть –
Она всегда в запасе,
Жизнь –
Она всегда в обрез...

Я чем-то занимался в своей комнате, но двери, как и в комнату взрослых, были открыты, поэтому стал вслушиваться:

...Что ж, вопрос весьма обширен,
Вот что главное усвой:
Наш тот свет в загробном мире –
Лучший и передовой...
Чем больше слушал, тем больше понимал, что не могу обознаться: ведь это же опять про того бойца. И что самое забавное – речь идёт из того света. Хотя теперь мне уже одиннадцать лет, и я давно знаю, что «Я убит подо Ржевом» – это действительно литературный приём, и автор жив.
А из комнаты взрослых тем временем доносятся такие слова, от которых захватывает дух:

...Лица воинов спокойны,
Точно видят в вечном сне,
Что, какие были войны,
Все вместились в той войне...

Из рассказов папы с мамой, которые воевали, и их фронтовых друзей, а также, книг и кинофильмов мне с детства известно, что для нашей страны ТА война была особой. Оттого так и ложатся на слух и сразу в память две последние строчки. Но дальше идёт для меня новое и тогда непонятное. Я же знаю, что немцы не были ни на Колыме, ни в Магадане. Почему же тогда у поэта:

...Там – рядами по годам
Шли в строю незримом
Колыма и Магадан
Воркута с Нарымом,

За черту из-за черты,
С разницею малой,
Область вечной мерзлоты
В вечность их списала.

Из-за проволоки той
Белой-поседелой –
С их особою статьёй,
Приобщённой к делу...

Когда гости уходят, спрашиваю папу: действительно ли это Твардовский. И после того как убеждаюсь, что – да, задаю другой вопрос: почему у него такой «литературный приём», ведь Колыма и Магадан есть и на этом свете. Можно же было дать другие названия. А так могут понять, что у немцев и там были концлагеря. Папа говорит, что в поэме речь идёт не о немцах, а о другом, и когда я немного подрасту, он мне расскажет, о чём. Ответ меня не устраивает, и папа говорит, что у нас в стране были «серьёзные ошибки», по которым невинные люди попадали в тюрьму.

Позже я узнаю о том, что, оказывается, в этом виноват тот человек, чьи портреты я любил в детстве вырезать из журнала «Огонёк». Мне он очень нравился в военном мундире, красивый,

черноглазый с усами. Помню, как трудно мне давалось понять, что у нас что-то было не так, а тем более «серьёзно» не так. И ещё помню, как вокруг говорили, что «отныне» всё будет хорошо и по справедливости.

Однако, когда я попросил папу дать мне почитать эти стихи, он сказал, что они пока не опубликованы, и в свою очередь попросил не рассказывать о них никому. Я привык, что мне доверяют. И гордился этим. Дело в том, что стихи любимого мной Николая Гумилёва, имя которого тогда не принято было официально упоминать, мне уже давно давали читать дома под «военной тайной». И я её ни разу «не разгласил».

Поскольку память детская очень свежа и от этого сильна, то некоторые из приведённых строчек я твердил дома, подражая в интонации тому гостю, который в тот вечер их читал. А ещё и такие:

...Перед мнимой секретаршей
Тем усердней мечет лесть,
Что его начальник старший –
Это лично он и есть.

И упившись этим тоном,
Вдруг он, голос изменив,
Сам с собою – подчинённым –
Наставительно учтив...

Не знаю, чем тогда привлек меня этот сюжет, но помню, что будто видел, как это происходит. Может оттого, что подобная миниатюра была у любимого всей страной Райкина.

Да и дальше, хоть и не всё было понятно, но тоже казалось не менее забавным, когда:

...Обсудить проект романа
Члены некие сошлись...

Этим членам всё известно,
Что в романе быть должно
И чему какое место
Наперёд отведено.

Изложив свои намётки,
Утверждают по томам.
Нет – чтоб сразу выпить водки,
Закусить –
И по домам...

Сколько мне потом будут рассказывать о таких «обсуждениях» и «проектах», и я всегда буду вспоминать эти слова.

В середине 60-х мне доведётся быть свидетелем невиданного в ту пору события, связанного с этой поэмой. Кажется в 66-м, папа возьмёт на работе билеты – в кассах купить их было невозможно – на премьеру спектакля Театра Сатиры «Тёркин на том свете». Помню, что о «лишнем билетике» начинали спрашивать уже при выходе с поезда на станции метро «Маяковская», и дальше на всём пути к дверям театра звучал тот же вопрос.

Когда счастливые обладатели билетов расселись по местам, и погас свет, через несколько секунд его вновь включили. Одновременно с этим зрители услышали, что в зале находится автор поэмы А.Т. Твардовский. Ему устроили овацию.

Действие началось. Тёркина, который в этой остроумной постановке Плучека попадал на тот свет с подзорной трубой, играл молодой ещё Анатолий Папанов. Играл замечательно. Пошли знакомые мне стихи. Зрители, с самого начала, затаив дыхание, слушают, казалось бы, уже привычные в те времена рассуждения героя и комментарии от имени автора, бурно реагируют на разные эпизоды сцен из «загробной жизни», где так всё схоже с тем, что и на этом свете.

Особую реакцию вызывают поначалу слова:

...Вот что главное усвой:
Наш тот свет в загробном мире –
Лучший и передовой.

И поскольку уготован
Всем нам этак или так,
Он научно обоснован, –
Не на трёх стоит китах....
И, когда на вопрос героя:

– Кто же всё-таки за гробом
Управляет тем Особым?
Следует ответ:
– Тот, кто в этот комбинат
Нас послал с тобою.
Чьим ты именем, солдат,
Пал на поле боя.

Сам не помнишь? Так печать
Донесёт до внуков,
Что ты должен был кричать,
Встав с гранатой. Ну-ка?
А затем вновь следуют слова героя:
– Без печати нам с тобой
Знато-перезнато,
Что в бою – на то он бой –
Лишних слов не надо;

Что вступают там в права
И бывают кстати
Больше прочих те слова,
Что не для печати...

В зале возникает такая тишина, что кажется, будто слышно
собственное дыхание. И оно идёт на фоне слов:

...Тёркин вовсе помрачнел.
– Невдомёк мне словно,
Что Особый наш отдел
За самим Верховным.

– Всё за ним, само собой,
Выше нету власти.
– Да, но сам-то он живой?
– И живой.
Отчасти.

Для живых родной отец,
И закон, и знамя,
Он и с нами, как мертвец, –

С ними он
И с нами.

Устроитель всех судеб,
Тою же порою
Он в Кремле при жизни склеп
Сам себе устроил...

И тут в тишину затаившего дыхание зала врывается возмущённый голос:

– Безобразие! Что вы себе позволяете!?

Что-то ещё выкрикивает мужчина где-то сзади нас. Зал не сразу понимает, что происходит. Наверное, кто-то, так же как и я подумал, что там находится артист, и так задуман спектакль. Смотрю на сцену – как отреагируют актёры. Но они продолжают играть, невзирая на эти «реплики». Скоро всем становится ясно, что такая «мизансцена» непредвиденна и для них: по ходу действия на сцене гаснет свет, и когда его включают, слышен небольшой шум в проходе. Это дюжие молодые люди выносят возмущённого «комментатора».

Позже мы узнали, что, в тот вечер было специальное дежурство сотрудников с Лубянки – видимо, в отличие от актёров, предчувствовали нечто подобное.

Этот спектакль шёл всего несколько раз. Театральный сезон закончился, и постановку больше не возобновляли. Её тихо запретили в министерстве культуры. Ходил слух, что у Леонида Ильича Брежнева, которому доложили о беспокойной обстановке и во время последующих спектаклей «Тёркина на том свете» – а такого рода эпизоды повторялись, – это вызвало недовольство. Да и как была представлена в поэме историческая картина, ему, в отличие от Хрущёва, который позволил это опубликовать, не нравилась. В середине 60-х уже наступали другие времена. И для страны, и для Твардовского, и для его «Нового мира»...

Позже из воспоминаний литературного критика Владимира Яковлевича Лакшина, который был многолетним сотрудником этого журнала и дружил с Александром Трифоновичем, мне станут известны некоторые подробности, связанные с судьбой поэмы. Оказывается, её первый вариант автор прочитал в редакции

«Нового мира» таким уважаемым в литературе людям как Николай Асеев, Михаил Светлов, Вера Инбер...ещё в 54-м году. Поэму одобрили, после чего она была отдана в набор и сверстана. Но свет не увидела. Кому-то удалось убедить самого Хрущёва, что поэма антисоветская и чуть ли ни с призывом к бунту, поскольку среди её персонажей был «генерал-покойник», который мечтал взять «полчок солдат», чтобы разнести канцелярскую мертвечину. Да и слова, что идут после строчки «Поищи-ка дураков...»:

—Что искать – у нас избыток
Дураков – хоть пруд пруди,
Да каких ещё набитых –
Что в Системе, что в Сети...

тоже, говорят, лидеру государства не понравились. И хоть он симпатизировал Твардовскому, поэму обнародовать тогда не позволил. Поэма увидит свет почти десятилетие спустя – в 63-м году.

А тогда – в 54-м история с «Тёркиным на том свете» была одной из причин увольнения Твардовского из «Нового мира», который он возглавлял с 50-го.

На четыре года журнал перешёл в руки К.М.Симонова, а в 58-м после беседы с Хрущёвым его вновь возглавил Твардовский.

По его словам, сказанным на своём юбилее в 60-м году (ему исполнилось 50), работа в журнале не сразу стала «делом жизни». В конце 50-х его думы больше были заняты собственным творчеством. В частности, работой над поэмой «За далью даль». И лишь по её опубликованию, дела журнала постепенно выходят на первое место. Может быть, как отметил Лакшин, такое случилось ещё и оттого, что нападки на «Новый мир» уже вначале 60-х сопровождали едва ли не каждую заметную публикацию. И по многим из этих материалов приходится объясняться «в верхах», отстаивать их литературное и гражданское достоинство. И, по словам Лакшина, чем труднее давался выпуск, чем больше бранили его в печати, тем дороже он становился Твардовскому. Некоторые из этих публикаций я помню, потому что в нашем доме каждый выпуск журнала был событием. Например, главы из воспоминаний Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь», из которых в те времена так много нового мы узнавали о Германии, Франции, Испании... Да и о нашей стране. Мы узнавали об

известных во всём мире политиках, деятелях культуры, таких, например, как Пикассо, Шагал, Модильяни, Андрей Белый, Цветаева, Хемингуэй... И самое ценное состояло в том, что автор с каждым из них был знаком, и давал личное восприятие того, о ком рассказывал, и тех эпизодов, в которых оказывался. А ему было, что рассказать. И эти главы, а затем и сама книга оказали сильное влияние на тех, кто формировался в 60-е. Её вклад в наш кругозор трудно переоценить. Но и Твардовскому доставалось за такой «кругозор». Помню некоторые заголовки газетных рецензий, посвящённых этим главам: « Не тот прицел, не та тенденция», «Литературный брак», «Теория терпимости нетерпима», «Факты и пристрастия»...

Но Твардовский не отступал и продолжал печатать «нежелательные» для его оппонентов повести Веры Пановой, Владимира Тендрякова, путевые очерки Виктора Некрасова «Турист с тросточкой», дальнейшие главы «Люди, годы, жизнь»... Но больше всего шума, а точнее, бурю вызвала публикация повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Это был, как теперь принято говорить, «культурный шок». Такое ощущение, что страна разделилась на два лагеря – сторонников и противников повести: и того, что её обнародовали, и разговоров о том, что в ней отразилась картина целой эпохи для нашей страны...

Ну, а автор вмиг стал знаменитым. Вряд ли будет преувеличением заметить, что с ноября 1962 года – момента опубликования «Одного дня...» – в течение последующих нескольких месяцев о ней только и говорили. Повесть заслонила собой многие политические и житейские новости: её обсуждали на улицах, в метро, дома. Одиннадцатый номер «Нового мира» «рвали из рук». В читальных залах находились энтузиасты, сидевшие до закрытия и переписывавшие эти страницы от руки.

Потом мы узнали о неслыханном решении: редакции позволили допечатать к обычному тиражу ещё 25 тысяч (!) экземпляров.

Позже станет известно, с каким трудом далась эта публикация. Лишь благодаря помощнику Хрущёва Владимиру Семёновичу Лебедеву, занимавшемуся вопросами литературы и идеологии, рукопись попала к главе страны, и тот её одобрил, дав разрешение обнародовать. И хотя противников тому было много, перечить Хрущёву не посмели.

В начале следующего года в журнале появились ещё две

публикации этого – уже знаменитого писателя: рассказы «Матрёнин двор» и «Случай на станции Кречетовка».

Тут же выходит повесть Константина Воробьёва «Убиты под Москвой», где такая непривычная по тем временам правда о войне.

А дальше читатели ждут и других произведений Солженицына и Воробьёва.

В какой-то момент «просачивается» слух, что к печати готовится роман Солженицына под громким названием «Раковый корпус», и затем ещё один – «В круге первом».

Однако, осенью 64-го Хрущёва сменяет Брежнев, политическая и литературная обстановка в стране тоже меняется, и вскоре Солженицын обнаруживает себя писателем запрещённым. Позже он напишет об этой обстановке в своих мемуарах под названием «Бодался телёнок с дубом». Ну и, естественно, что ни один из названных романов света тогда не увидел.

И в эти годы лишь благодаря усилиям Твардовского мы, всё же, имеем возможность читать в «Новом мире» военные повести Василя Быкова, «Семеро в одном доме» Виталия Сёмина, «На Иртыше» Сергея Залыгина, «Из жизни Фёдора Кузькина» Бориса Можаева..., а также, блистательные критические статьи Лакшина. Но все эти вещи сопровождаются резкой критикой с самых высоких партийных и литературных трибун, а также ряда газет. Трудности с цензурой всё возрастают. Остановлен уже наполовину отпечатанный роман Александра Бека «Новое назначение», который мне, благодаря знакомству моей тётки с автором, удаётся прочитать в рукописи. Да и историю с трудностями на пути его публикации тоже узнаю, благодаря тому знакомству. А ещё, из уст писателя услышу, что не прошла цензуру вёрстка «Дневников 1941 года» Константина Симонова...

Позже я узнаю, что это далеко не все трудности, которые испытывает журнал, отстаивая свои литературные и гражданские позиции.

А тогда – в конце 60-х вместе с остальными читателями «Нового мира» стану ощущать, что выпуск каждого его последующего номера всё больше запаздывает. Кроме того, узнаю, что в некоторых областях страны усилиями местных руководителей подписку на журнал запретят вовсе. Так на 69-й год на родине

Л.И.Брежнева в Днепропетровской области не окажется ни одного индивидуального подписчика.
Вот какой силой в нашей стране было в ту пору печатное слово...

В конце 60-х от той же своей тётки Татьяны Сергеевны, которая была дочерью знаменитого в 20-е и 30-е годы писателя и поэта Сергея Третьякова и знала лично многих литераторов, в том числе и Александра Трифоновича, я услышу слова:

...Забыть, забыть велют безмолвно,
Хотят в забвенье утопить
Живую быль. И чтобы волны
Над ней сомкнулись. Быль – забыть!

Забыть родных и близких лица
И стольких судеб крестный путь –
Всё то, что сном давнишним будь,
Дурною, дикой небылицей,
Так и её – поди, забудь.

Сразу догадываюсь, о чём, хотя это и нетрудно: общество, в том числе и литераторы, в ту пору поделились практически пополам. Одни были сторонниками того, чтобы о результатах «диктатуры пролетариата» – методах коллективизации и последствиях знаменитой фразы о том, что «по мере построения социализма классовая борьба усиливается»,– продолжать рассказывать. Другие были против этого. Они считали, что на фоне достижений страны, такие «перегибы» являлись мелочью. И о степени этих «мелочей» шла постоянная полемика сначала при Хрущёве, потом при Брежневе, который в отличие от предшественника был на стороне тех, кто не хотел осуждения и покаяния.

А поскольку Твардовский был за осуждение и покаяние, то с середины 60-х ему так несладко и приходилось в «Новом мире». Туда он пропускал только честные, на его взгляд, произведения, в которых «дышала почва и судьба» и не пропускал рукописи, где наши так называемые в ту пору «отдельные недостатки» были отлакированы или вовсе не упомянуты. Ему нужна была «правда жизни», а не прадоподобие, даже, если это было изложено талантливо.

Но я отвлекся. Продолжаю слушать:
...Забывать велют и просят лаской
Не помнить – память под печать,
Чтоб ненароком той оглаской
Непосвящённых не смущать.

О матерях забыть, о жёнах,
Своей – не ведавших вины,
О детях, с ними разлучённых,
И до войны,
И без войны...

И даром думают, что память
Не дорожит сама собой,
Что ряской времени затянет
Любую быль,
Любую боль...

Оказывается, Татьяна Сергеевна вернулась из одного дома, где поэму читал сам Александр Трифонович. Он назвал её «По праву памяти». Помню ещё, продолжение:

...Тогда молчальники правы,
Тогда всё прах – стихи и проза,
Всё только так – из головы.
Тогда совсем уже – не диво,
Что голос памяти правдивой
Вещал бы нам и впредь беду:
Кто прячет прошлое ревниво,
Тот вряд ли с будущим в ладу...
И дальше о себе:

...А я – не те уже годочки –
Не вправе я себе отсрочки
Предоставлять.
Гора бы с плеч –
Ещё успеть без проволочки
Немую боль в слова облечь...

Как она всё это сумела запомнить, ума не приложу, но читает до конца, где идут такие слова:
Зато и впредь как были – будем, –
Какая вдруг ни грянь гроза –

Людьми из тех людей, что людям,
Не пряча глаз,
Глядят в глаза.

А потом я узнаю и его личную «немую боль». Я, конечно, помнил из школьной программы, что рождён он в 1910 году на хуторе Смоленщины. И лет 15-ти был уже комсомольским активистом, напечатавшим в смоленской газете своё первое стихотворение «Новая изба». Что позже его заметил знаменитый земляк поэт Михаил Исаковский. А дальше – в середине 30-х он переехал жить в Москву уже автором знаменитой в то время «Страны Муравии». В Москве стал учиться в ИФЛИ (Институте философии, литературы и истории), о котором значительно позже замечательно расскажет Лилиана Лунгина – по её рассказу будет составлена книга «Подстрочник».

Ну и дальше, как помнил из школьного учебника, всё у него складывалось замечательно: было много правительственных и литературных наград и премий. Особенно после Тёркина.

Но оказалось, что некоторые детали его биографии в силу той идеологии, что царила тогда в стране, не обнародовали.

Поэтому то, что я узнал в тот вечер, было для меня открытием.

Но прежде должен сказать, почему тётушка ещё тогда – в 60-е знала о том, о чём в ту пору известно было лишь единицам. Дело в том, что Александра Трифоновича интересовала личность её отца.

А интересовала потому, что Сергей Третьяков – потомственный интеллигент, принявший и поверивший в провозглашённые идеи революции, стеснялся своего «интеллигентского начала».

И как Чехов «по капле выдавливал из себя раба», так и Третьяков всю жизнь «выдавливал из себя интеллигента», поскольку в нашей стране долгое время после 17-го люди стеснялись принадлежности к этой категории граждан. Слово «интеллигент» тогда ассоциировалось с определением «гнилой», оттого что именно так однажды прозвучало из уст лидера революции.

Но это не помогло. Вслед за своим другом Всеволодом Мейерхольдом знаменитый писатель, чью пьесу «Рычи Китай» знала вся страна, был расстрелян с классической в 30-е формулировкой «враг народа» и реабилитирован лишь в 56-м.

«Свои» 17 лет в лагерях и на поселении «отдала Родине» и мама Татьяны Ольга Викторовна, которая сразу после ареста

Третьякова была объявлена японской шпионкой. Точнее, была объявлена после того, как ни одной из бумаг, порочащих мужа, не подписала.

К Ольге Викторовне Твардовский относился с особой теплотой. Мне довелось наблюдать это дважды. В первый раз – во время перерыва одного из вечеров в ЦДЛ (центральный дом литераторов). Увидев Ольгу Викторовну, поэт отделился от людей, его окружавших, подошёл, нагнулся, бережно взял утонувшую в его огромных ладонях руку и поцеловал.

Когда она представила своего двоюродного внука, тёплое рукопожатие досталось и мне. И поскольку Ольга Викторовна сказала, что её внук – биохимик, спросил, всё ли, на мой взгляд, науке подвластно. Услышав мои сомнения, остался доволен. И ещё добавил:

– Да, видимо, и не нужно. В природе для человека должны быть тайны. Иначе, он сочтёт себя на земле главным.

Я думал, он продолжит, но дальше Александр Трифонович о чём-то спросил Ольгу Викторовну. Скорее всего, о здоровье. Но утверждать не берусь. Видимо, был переполнен тем, что любимый с детства поэт и к моменту той встречи уже легендарная личность обратился ко мне. Поэтому остального не запомнил.

Второй раз мы встретили его в том же ЦДЛ, куда зашли выпить по чашечке кофе. В подвальчике – кафе поэтов – он сидел за столиком с двумя сравнительно молодыми людьми (один из них оказался Юрием Трифоновым). Увидев Ольгу Викторовну, поднялся, подошёл, также, как и в предшествующей встрече, нежно пожал и поцеловал ей руку. К моему удивлению, вспомнил и меня, спросив о научной работе. Когда услышал от Ольги Викторовны, что я защитил диссертацию, поздравил и сказал:

– Старайтесь всегда доверять фактам...

Позже, когда я узнаю о роли поэта в истории генетика Жореса Медведева, пойму, что он мог тогда иметь в виду. Но об этом немного дальше.

А пока продолжим о Твардовском и Третьякове. Таня рассказывала, что Александр Трифонович особо отмечал одно стихотворение Третьякова, которое впервые услышал от неё. Оно называется «Атака». И поскольку стихотворение длинное, приведу лишь фрагменты, из которых, наверное, будет ясно, почему Твардовский его выделял:

Касаются ружья.
За каждым бугром – солдат.
В поле так пусто, как в зале дворцовых палат...

Сердце настезь. В атаку! Упрямо
В атаку! Всё ближе. В атаку!
Лоб расколот...Мама!...

Зрачками в зрачки.
Телом в тело. Ладонью в красное.
Ликованье последнее страстное,
Звонкое, цепкое, липкое...

Отходим упорствуя.
Кусались, клубились в кустарнике.
Стала тёплой глина чёрствая,
Как хлеб из пекарни.

Тепловатым причастьем насытили
Отощавший желудок полей,
И опять камня
На шершавой ладони земли,
Залегли
Победители.

Она говорила, что Александру Трифоновичу особенно нравился образ: «Стала тёплой глина чёрствая,/Как хлеб из пекарни» и ещё он выделял: «Тепловатым причастьем насытили/Отощавший желудок полей...».

И хотя по свидетельству людей близко его знавших, Твардовский не любил нарушений в классической форме стиха – ритме, рифме – здесь, по-видимому, его что-то захватывало настолько, что он не обращал на это внимание. Может, то, что это было «написано войной», а не только о войне. А уж войну-то он знал. И умел сказать о ней, и её послевоенных отголосках, как мало кто:

...Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю –
Наш ли Ржев наконец?

Удержались ли наши
Там, на среднем Дону?..
Этот месяц был страшен,
Было всё на кону...

Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам всё это, живые.
Нам – отрада одна...

Нам достаточно знать,
Что была, несомненно,
Там последняя пядь
На дороге военной...

Я убит подо Ржевом,
Тот ещё под Москвой.
Где вы, воины, где вы,
Кто остался живой?

В городах миллионных,
В сёлах, дома в семье?
В боевых гарнизонах
Не на нашей земле?

Ах, своя ли, чужая,
Вся в цветах иль в снегу...
Я вам жить завещаю, –
Что я больше могу?...

А Татьяне он так доверительно о себе рассказал, может быть, потому, что и сам по его словам многое из себя с какого-то момента «выдавливал».

Оказалось, что в пору «сплошной коллективизации» и в духе того, что потом официально называли её «перегибами», хозяйство его отца Трифона Гордеевича в 31 году сочли кулацким. Сочли лишь оттого, что у Твардовских – единственных на хуторе был дом-пятистенки, которым до этого так гордился Трифон Гордеевич. После этого решения, в 24 часа семья была собрана и выслана

на Северный Урал.

Молодого поэта спасло от высылки то, что уже несколько лет он жил самостоятельно в стороне от семьи. И хотя высылка его миновала, обвинение в том, что он сын кулака, висело над ним ещё долгое время. От него требовали отречься от отца, как от «социально чуждого элемента».

В ту пору привязанность отца к своему имуществу, клочку земли и хутору он тоже не одобрял и даже досадовал на это. Молодой газетный селькор, искренний комсомолец горячо верил, что слабость к своей «землице» у людей старшего поколения – жалкий предрассудок. Больше того, – что это вредит построению в стране «всеобщего счастья», поскольку к нему ведёт только «братский коллективный труд».

Да и поэма «Страна Муравия» во многом была вызвана таким настроением, потому автор и соединяет там «исконную поэзию земли» с новыми формами крестьянской работы и быта. И в этом коллективном труде «под солнцем свободы» он видит счастливое будущее.

Но как человек искренний и честный, да, к тому же, Художник, он не мог не видеть, а, следовательно, и не сказать о том, что тоже знал: как этот «радостный труд» изначально организовывала на местах новая власть, расчищая ему дорогу:

...Их не били, не вязали,
Не пытали пытками.
Их везли, везли возами
С детьми и пожитками.
А кто сам не шёл из хаты,
Кто кидался в обмороки,
Милицейские ребята
Выводили под руки...

Конечно, эти строчки никак не вписывались в понятие «социалистический реализм» – изобретение нашей страны той поры, поэтому были выброшены при первой публикации и восстановлены автором лишь в последнем прижизненном собрании сочинений, когда это было уже можно...

К своим сложным отношениям с отцом поэт вернулся позже – как раз в той самой поэме «По праву памяти», о которой уже шла речь, переосмыслив всё заново. Вот отчего, там и его личная «немая боль».

Он ведь ещё многое узнал от матери, когда в 36-м получил возможность навестить семью в ссылке. В то время с Урала семье удалось перебраться в Русский Турек, что на реке Вятке, где было не так голодно. Об этом приезде много лет спустя напишет в воспоминаниях «Родина и чужбина» один из его братьев Иван.

А поэт поживёт там 10 дней, и всё это время будет слушать рассказы матери. Из них он узнает, что, когда семью грузили в эшелон, отец был на заработках в Донбассе (это «кулак»?!). Но, услышав, что случилось, поехал за семьёй и догнал по дороге.

Когда привезли до места, выгрузили из вагонов прямо в снег. Наскоро построили бараки и там поселились. Поскольку кругом тайга, то считалось, что бежать некуда, да и с голоду умрёшь или замёрзнешь, поэтому ходить можно было куда угодно и без конвоя.

Работать предстояло на лесоповале, а летом сплавливать лес по реке.

Однако, отец умудрялся сбегать каждые несколько месяцев. Сбегал он на заработки, чтобы прокормить семью – иначе все бы погибли. Он был кузнецом, а кузнецы везде оказывались нужны. Поэтому всегда возвращался или с пудом муки, или с мешком сухарей. Так и выжили.

В наказание за побег его каждый раз сажали в карцер, который представлял собой большую проволочную клетку, и сидел он в ней, по выражению Александра Трифоновича, «как дрозд».

То, что можно было умереть, не преувеличение. Мать рассказывала, что однажды, бродя по лесу, наткнулись на такой же барак. Двор был пуст. Толкнули дверь. А там лежат на нарах и сидят за столом покойники. Видно, охрана ушла, а люди от слабости и холода не сумели выжить.

Выжить семье Твардовских помог случай и профессия отца. Однажды, шли они с матерью голодные и уже из последних сил. В какой-то момент их обгоняет мужик на санях. На вопрос: «Куда идёте?», отец с горечью отвечает: «А чёрт его знает, куда». Проезжий взял их к себе на сани. Разговорились, и когда он узнал, что отец – кузнечный мастер, пригласил его к себе работать.

По иронии судьбы этот человек оказался председателем колхоза. И к тому же у него как раз не было кузнеца. Перебрались к нему. Так и выжила «раскулаченная семья» в колхозе, что был за тысячи вёрст от родного дома...

Поскольку Твардовский, хоть и не разделял взгляды отца,

отрекаться от него не стал – «совесть не позволяла». Поэтому с неприятностями как «сын кулака» сталкивался постоянно. Этот «дамоклов меч» висел над ним много лет. Так, например, в резолюции протокола общего собрания писателей Смоленска от 18 сентября 1937 г. отмечалась необходимость «быстрейшего разоблачения и ликвидации троцкистско-бухаринской диверсионной деятельности агента Македонова и его приспешников...». Среди «приспешников» первой стояла фамилия Твардовского.

В это время он живёт в Москве, учится в ИФЛИ и на каникулы приезжает в Смоленск. Заходит к своему другу, известному в ту пору поэту Адриану Македонову, от которого и узнаёт о резолюции. Просидел у него весь вечер, условились встретиться завтра. А на другой день весь Смоленск говорил о том, что в ту же ночь за Македоновым пришли с ордером на арест и увели его. Пришлось ехать на аэродром и первым же рейсом улетать в Москву.

А в Москву тем временем пошли из Смоленска бумаги о связях Твардовского с «врагами народа» и его кулацком происхождении. Спасло то, что арест в Москве ещё надо было согласовывать с местными органами, а в столице в 37-м и своих «забот» хватало. Поэтому «пронесло». Хотя позже он узнает, что Македонову в качестве одного из обвинений предъявят дружбу с Твардовским и поощрение «кулацкой» поэмы «Страна Муравия», в том числе и уже приведённых запретных строк: «Их не били, не вязали,/ Не пытали пытками...».

Но, опять же, – ирония судьбы: в 39 году получает награды большая группа писателей, и в этом списке, к общему изумлению, оказывается Твардовский, который, ни много, ни мало, награждён орденом Ленина. А секрет прост – Сталину понравилась «Страна Муравия».

После такого оборота событий поэт решил, что нужно попытаться помочь Македонову – родители уже вернулись на Смоленщину.

Он составил письмо в его защиту и отнёс подписывать Исаковскому, вызвав гнев его близких: «Как Вам не стыдно! Зачем втягиваете Михаила Васильевича в такое дело?» Однако, Исаковский поддержал и от себя тоже написал письмо в областную прокуратуру. Твардовский нашёл адвоката, но тут его, уже окончившего ИФЛИ, отправляют военным корреспондентом в Западную Белоруссию – началась советско-финляндская война.

И «закрутилось» – эта война через небольшой отрезок времени перейдёт в Великую Отечественную, куда с самого её начала Твардовский попадёт тем же военным корреспондентом. Сначала на Юго-Западный, а потом на Западный фронт, где случайно встретит адвоката, которому в 39-м передали дело Македонова для составления кассации. От него поэт узнает, что невиновность Македонова была установлена, и арестованного могли бы выпустить по просьбе Твардовского.

Но «загвоздка» состояла в том, что по тому же делу проходило ещё семь человек. А поскольку и они, оказывалось, невиновны, то их нужно освобождать. Однако, никого из них не нашли – видно были расстреляны (такое в 37-м случалось).

А судьба Македонова сложится так, что в лагерях и ссылках он проведёт 21 год. Долгое время будет работать в шахтах Норильска. И результатом такого «жизненного и профессионального опыта» станет впоследствии учёная степень доктора геологии.

По его возвращении на волю, друзья встретятся, и эта встреча вызовет к жизни одну из самых сильных глав поэмы «За далью – даль», где, в частности, будут такие строки:

...Кому другому, но поэту
Молчать потомки не дадут.
Его к суровому ответу
Востребует особый суд.
Я не страшусь суда такого
И, может, жду его давно,
Пускай, не мне ещё то слово,
Что ёмче всех, сказать дано.
Моё – от сердца – не на ветер,
Оно в готовности любой,
Я жил, я был – за всё на свете
Я отвечаю головой...

Рассказал, он тогда Татьяне свою историю, конечно, вкратце. Позже мы узнаем о нём подробнее из воспоминаний В. Дементьева, А. Кондратовича, а также, упоминавшихся В. Лакшина и брата Ивана.

Тане же при той встрече на её вопрос – когда ему было особенно страшно, ответил, что долгие годы, начиная с высылки семьи, но больше всего «боялся дать слабину» – отречься от отца или

осудить невиновного. Вот этот страх, по его словам, «в то время из себя и выдавливал»...

Оттого он так и приветствовал «оттепель» в надежде, что «теперь-то мы станем жить по справедливости и ничего не замалчивать». Но шли годы, и довольно скоро страна начала чувствовать, что «не замалчивать» почему-то не получается. Показывают, например, парад 7 ноября 41 года, откуда бойцы сразу же отправлялись на передовую, а принимающего этот парад будто и не было на мавзолее. И в 45-м в кинокадрах парада Победы Главнокомандующий отсутствует. О нём тогда принято было говорить только дурное, и «справедливость» получалась однобокой. А когда информация односторонняя, картина сильно искажается. И, если до середины 50-х её искажали в одну сторону, то после пошёл такой же перекосяк в другую.

Все видели полуправду, и это подрывало доверие к «проводнику оттепели». К тому же, сделав доброе дело в осуждении культа личности и освободив невиновных, дальше – выстроить систему власти так, чтобы культ был невозможен, – он не пошёл. Больше того, постепенно начал культивировать непогрешимость своей личности, наделав при этом столько глупостей, что страна и веселилась, и плакала одновременно.

Ну и, конечно, «доигрался»: потерял власть.

Преемник тут же «вернул» в кадры кинохроники Главнокомандующего и вроде бы восстановил объективность. Но одновременно с этим не был сторонником того, чтобы страна, где проблем накопилось много, их обсуждала, ограничившись, вошедшим в историю термином, что «экономика должна быть экономной», так и неразгаданным экономистами. Да и со «свободой слова», о чём люди размышляли при предшественнике, хотя и при нём же скоро поняли, что «размышлялись», теперь, как мы уже отмечали, становилось всё хуже и хуже. Нам объясняли, что в обществе нужна «стабильность», и дискуссии ей вредны.

Куда привела эта «стабильность» мы ощутили уже в 80-е и до сих пор пожинаем эти плоды. Поскольку, решись мы ещё в 60-е что-то изменить к лучшему, как знать, может, жили бы сейчас совсем иначе. Но это – к слову...

Что же до Твардовского, то именно от огромного желания быть полезным своей стране он и собственным словом и словом тех,

в ком видел литературное дарование, соединённое с позицией честного человека, пытался делать всё от него зависящее. Отчего и получал постоянно неприятности. Властьпридержавшие разного калибра, как могли, мешали ему работать. Частично об этом уже шла речь. Но неприятности продолжаются. Выходят статьи о том, что «Василий Тёркин» несравним с «очернительской» поэмой «Тёркин на том свете», на что следует ответ автора: «Без Тёркина на том свете, Тёркин – сирота». Потом внезапно ему объявляют о созревшем «в высоких кабинетах» решении убрать из редколлегии его заместителя А.Г.Дементьева и ответственного секретаря Б.Г.Загса. Он пытается встретиться с главным идеологом той поры Сусловым, но тот его не принимает, а по телефону советует покориться партийной дисциплине. Единственное, что ему удаётся сделать – назначить и.о. заместителя главного редактора В.Я. Лакшина, которого так и не утвердит Секретариат Союза писателей. И в течение нескольких лет до самого ухода из редакции Лакшин будет работать в качестве и.о. А в это время у него складываются такие строчки, тоже представленные в книжечке, с которой начался очерк:

Ночью все раны больнее болят, –
Так уж оно полагается, что ли,
Чтобы другим не услышать, солдат,
Как ты в ночи подвываешь от боли.

Словно за тысячи вёрст от себя
Все эти спящие добрые люди
Взапуски, всяк по-другому храпя,
Гимны поют табаку и простуде, –

Тот на свистульке, а тот на трубе.
Утром забудется слово упрёка:
Не виноваты они, что тебе
Было так больно и так одиноко...

Большой и сильный человек не умел жаловаться. Но как ему было в ту пору больно, окружающие догадывались. И хотя здесь – о солдате, наверное, так сильно могло не получиться, если не

было бы и о себе. И, может быть, чтобы облегчить душевную боль воспоминанья ведут туда, где было хорошо – в юность:

Погубленных берёзок вялый лист,
Ещё сырой, ещё живой и клейкий,
Как сено из-под дождика, душист.
И Духов день. Собрание в ячейке,
А в церкви служба. Первый гармонист
У школы восседает на скамейке,
С ним рядом я, суровый атеист
И член бюро. Но миру не раскрытый –
В душе поёт под музыку секрет,
Что скоро мне семнадцать полных лет
И я, помимо прочего, поэт, –
Какой хочу, такой и знаменитый.

А хорошо было там, потому, что вся жизнь впереди. И таким замечательным представлялось будущее, в котором не могло быть и тени намёка о том, что предстоит пережить.
Но возвращает память в войну. Тому, кто её прошёл, от этого уже не уйти:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны.
В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, –
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же...

И хоть больно там было, горько и страшно, но понятно, где враг, где друг. И мечта одна – ПОБЕДИТЬ. А уж там-то общими усилиями...
Но оказалось, что «усилия» разные. И почему-то не получается защитить свой «Новый мир» Может, от этого и такие строчки. Они всё в том же – первом посмертном сборничке 72 года:

Я сам дознаюсь, доищусь
До всех моих просчётов.
Я их припомню наизусть –
Не по готовым нотам.

Мне проку нет – я сам большой –
В смешной самозащите.
Не стойте только над душой,
Над ухом не дышите.

Но над душой стояли и ещё как. В начале 67-го появляются два разгромных «подвала» в «Правде», под названием «Когда отстают от времени». В этих статьях речь шла о том, что «Новый мир» пытается сделать «далеко идущие выводы» из критики «культы личности». И тем самым «очерняет» действительность, «замахиваясь» на легенды. Поэтому большинство публикаций в журнале оценены «вредными для общества».

В качестве «вредных» материалов находят и изымают из вёрстки целые главы «Деревенского дневника» Ефима Дороша. А в допущенных к выходу в свет главах цензор «вымарывает» довольно много – сейчас это легко сравнить с оригиналом. Идёт «под нож» и очередная военная повесть Василя Быкова, из которой видно как мы «подготовились» к войне. Потом уничтожают уже отпечатанные листы Л. Чёрной и Д.Мельникова под названием «Преступник №1», где представлена биография Гитлера. Высокий цензор находит в материалах «нежелательные и вредные ассоциации», хотя немного позже в издательстве АПН выйдет книга этих авторов, где полностью будет представлен раздел, выброшенный из «Нового мира»...

Травля главного редактора продолжается.

Твардовский делает попытку встретиться с Брежневым. Леонид Ильич даёт согласие и поручает референтам определить день и час. Но тут наступает 20-е августа 68 года, когда советские танки входят в Прагу. И Брежневу уже не до этого.

Встреча, на которой поэт рассчитывал убедить главу государства, что «Новый мир» делает благое для страны, и что «не покайся, не разобравшись, верного движения вперед не сделаешь», так и не состоялась...

Может, он её уже и не ждал или после такого поступка с Чехословакией понял, что ничего хорошего она теперь не сулит. А, может, ко всему ещё и накопилась усталость. И хотя сдаваться он не собирался, наверное, ощущал потребность «приподняться над повседневной суетой». В это время он записал так:

К обидам горьким собственной персоны
Не призывать участия добрых душ.
Жить, как живёшь, своей страдой бессонной
Взялся за гуж – не говори: не джуж.

С тропы своей ни в чём не сосупая,
Не отступая – быть самим собой.
Так со своей управиться судьбой,
Чтоб в ней душа себя нашла любая
И чью-то душу отпустила боль.

Каким «запасом прочности» и благородством нужно обладать, чтобы в его положении, когда самому так больно, думать и сказать о том, о чём в трёх последних строчках...

Потом пошли разговоры о том, что поэт, поставленный в рамки, где его работа в журнале становится бессмысленной, внутренне готов уйти. В ноябре 69-го следует исключение из Союза писателей Солженицына, и атмосфера в стране уже такая, что конец направлению журнала, которое создал и взлелеял Твардовский, неизбежен.

В июне 70-го он скромно отметит 60-летие, награждённый орденом Трудового Красного Знамени.

Конечно, этот орден не отражал степень его заслуг перед страной. Люди и не такие значимые, но «умеющие хорошо себя вести», получали более высокие награды. Ему же – живой легенде – сулили звание Героя Социалистического Труда. Это было самое высокое звание той поры. И кому же, как ни ему – всенародно признанному и любимому поэту – его носить.

Но... Во-первых, в высоких кабинетах припомнили, что он не подписал письмо в поддержку ввода наших войск в Чехословакию и, кроме того, заступился за опального учёного Жореса Медведева, о котором уже частично шла речь.

В 70-м история этого генетика была довольно громкой. Учёный написал книгу «Биологическая наука и культ личности», где рассказывал, что случилось у нас с генетикой при Т.Д.Лысенко, называя всех поимённо, о чём каждый сейчас знает. Но тогда Медведева уволили с работы. А чуть позже – в 70-м – за диссидентские настроения, которые он не скрывал, принудительно

поместили в калужскую психиатрическую больницу. Твардовский хорошо знал его и брата-близнеца Роя – известного в те времена историка, тоже опального. Рой Александрович и рассказал поэту о случившемся.

Твардовский не просто вступился, а лично поехал в ту больницу «выцарапывать» учёного. Это происходило в канун юбилея, и в одном из высоких кабинетов ему намекнули, что при таком поведении можно не получить звание Героя Социалистического Труда.

Не знаю, каким образом, но из того кабинета произошла «утечка». Она интересна финалом разговора, который закончился ответом: «В первый раз слышу, что Героя у нас дают за трусость».

Фраза знаменитого поэта мгновенно обошла не только Москву, но и другие города и даже страны. О ней в те дни постоянно говорили западные радиостанции, а у нас тогда можно было о таком лишь «на кухне»...

Получив орден Трудового Красного Знамени, юбиляр в кругу близких ему людей, где была и Татьяна, пошутил так: «Трудись, мол, больше, трудись...», а потом сказал:

– Я верую и исповедую одну теорию: всё, что «недополучил» здесь, на этом свете, всякое признание и уважение, получишь после смерти с лихвой, и наоборот, если перебрал при жизни наград и успеха – тебе грозит забвение...

В какой степени он «недополучил» показывает наш самый беспристрастный судья – время, поскольку потребность в нём с годами не ослабевает.

Всё же вынудили поэта уйти из журнала высшие инстанции, которые по решению Секретариата Союза писателей вводили в редколлегию без его согласия людей. И, также, без согласия выводили оттуда бывших сотрудников. А в таком составе, что ему навязывали, смысла работать он не видел. Терять же время бессмысленно не умел.

Лишившись «Нового мира», начал болеть. И 18 декабря 1971 года тихо ушёл из жизни.

Хоронили поэта на Новодевичьем кладбище.

Среди провожавших был опальный Александр Солженицын, который под щёлканье фотоаппаратов перекрестил своего «крёстного отца в литературе». Он всегда помнил, как к нему

– ещё неизвестному среди читателей учителю математики – отнёсся великий поэт, который сам редактировал рукописи его первых произведений и выводил их в свет.

Прощались с Александром Трифоновичем 21 декабря, в самый короткий день года. И поскольку родился он в самый долгий день – 21 июня 1910 года, может быть, в таком сочетании дат что-то есть.

Мне же, когда о нём думаю, а с годами это происходит всё чаще, на память, почему-то, первыми приходят такие его строчки:

... Не надо платы никакой –
Ни той посмертной, ни построчной, –
А только б сладить со строкой.

А только б некий луч словесный
Узреть, не зримый никому,
Извлечь его из тьмы безвестной
И удивиться самому.

И вздрогнуть, веря и не веря
Внезапной радости своей,
Боясь находки, как потери,
Что с каждым разом всё больней.

Приходят эти слова, может быть, потому, что он сумел «извлечь» не только «луч словесный», но вместе с ним и что-то большее, что сделало его личность такой же великой, как и его творчество.

